

Более десятилетия назад (в 2007 году) вышел в свет мой «Круг чтения». И в первом выпуске был вот этот великолепный этюд покойного Владимира Михайловича Мазаева о Достоевском и Марии Исасовой.

Василий Попок,
член Союза писателей России.
(г. Кемерово)

Без слезы. Смиренно. По-христиански.

Я плыву в Топольники. Небо надо мной густеет, перехлестнутое голыми ветвями. Ветер уходит в вышину, солнечные лучи буравят мутноватую глубину. Опахивает волной вишневый дух преющего дерева. Тут же уступает другому — горьковато-пьянящему запаху цветущего таволжника, которого отсюда ещё не видно.

Эти запахи! Они пуще воспоминаний будоражат память, кружат голову. Я начинаю волноваться, бестолково верчусь — словно передо мной вот сейчас, сию минуту, раскроется тайна, и я не переживу минуты, если упущу её.

Обгоняю запоздалую льдинку с вмёрзшими катышками заячьего помёта.

Подмытая где-то в верховьях берёзка плывет так давно, что уже выбросила, как флаг, зелёную веточку. На кусочке коры сидит научок-крестовник, сгорбившись от горя.

Осторожно задеваю кору веслом — научок вдруг оживает, цепляется за весло, прытко бежит по веслу в лодку.

Я смотрю на неколебимые, как колонны, тополя. Чёрные в обхват стволы поклёваны льдом, заскорузли от времени, и трудно представить, что в них, как и в плывущей, оторванной от земли берёзке, гудит пробудившаяся жизнь.

Откуда в наших таёжных и боровых краях эти тополя, эта удивительная роща, растянувшаяся поймой реки на километры?

Далеко за рощей, на уклоне Пургинской гривы, высятся камни крепости, заложенной ещё сибирскими первопроходцами. Молва доносит: защищаясь от набегов джунгарской конницы, первопроходцы обнесли крепость вбитыми в землю кольями. Колья были из чёрного тополя и принялись — с годами образовалась роща. Я верил в эту легенду в детстве, хочу верить в неё и сейчас, хотя опыт и подсказывает: тополя не могут жить так долго, а молодой поросли здесь давно никто не видел.

Если завтра вскарабкаюсь повыше, в самый посок вон той рыжей скалки, то можно охватить взглядом всё: и синью окрашенную тайгу, и блестящие кондомские разливы до горизонта, и подковку железнодорожного моста,

и совсем вдали сломы крепостных стен, и кричались «крыш корою» — приплюснутые кварталы старого города.

А ещё, коль напрямч слегка воображенно, можно увидеть золото крестов и зелёные купола белокаменного храма, в котором когда-то венчался Достоевский.

Большая и трагическая любовь великого человека освятила эти, дорогие моему сердцу, окрестности. Вот что в такие минуты трогает и тихо, до горечи изумляет, будоражит память и этим врачует её. И забывается мудрый библейский совет хранить себя больше в молчании.

...Уездный Кузнецк, важный некогда форпост в оборонной линии южной Сибири, слыл уже захолустьем, дремотной Азией, когда в него занесло «унтера» Сибирского штрафбата Фёдора Достоевского, вчерашнего каторжника.

Занесло же его туда «грозное чувство» к молодой женщине, белокурой красавице Марии Исасовой. И «занесло» как нельзя вовремя. Позднее он признается безжалостно в письме к другу:

«Я увидел её! Что за благородная, что за ангельская душа. Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого... Я провёл не знаю какие два дня, это было блаженство и мучение нестерпимые!.. Её сердце опять обратилось ко мне. Она мне сказала: «Не плачь, не грусти, не всё ещё решено; ты и я и больше никто! Я уехал с полной надеждой... Письмо за письмом, и опять я вижу, что она тоскует, плачет и опять любит его более меня!».

Но вот наконец-то (наконец-то!) всё позади. И ненавистный мундир штрафника с красными погонами и красным тугим воротником. И унижительное (при его-то феноменальной мнительности!) соперничество с «мальчишкой», учителем приходской школы Вергуновым. И победа над ним! И мучительные понски денег на свадьбу. И «пышное», многолюдное венчанье в Одигитревской белокаменной церкви, где «шафером по жениху» был не кто

иной, как сам «соперник», учитель Вергунов (*невероятно, необъяснимо, но факт*). И долгожданный, поистине выстраданный, отъезд в Россию.

Когда же, умиротворённый и счастливый, едет он в купленном им тарантасе с дремлющей на его плече женщиной, женой – шепча: «Великодушная моя! Нежданная моя освободительница!» – он, могучий знаток человеческой души и прорицатель (*недавно ещё утверждавший, что у женщины чувство берёт верх даже над очевидностью здравого смысла*), – он не знает, не догадывается, что в каких-то верстах позади, тем же ходом, следует «побеждённый». И что жена тайно шлёт ему записки: где они останутся, где заночуют...

Эта жалкая комедийная коллизия находит продолжение в Твери, где Достоевскому разрешено было житье. А позже – во Владимире...

Марья Дмитриевна уже серьёзно страдает нездоровьем. Несмотря на это, супруг её вынужден часто и подолгу отлучаться в Санкт-Петербург по своим литературным делам. Немного позднее – и за границу, лечиться га-стейнскими водами и морскими купаниями (*от эпилепсии*).

В один из хмурых осенних дней, возвратившись из очередной длительной поездки, он чуть ли не в дверях комнаты, где лежит больная жена, сталкивается лоб в лоб с ... учителем Вергуновым!

Можно себе представить изумление супруга. Его великое потрясение и его праведный гнев!

Взбешённый, на грани эпилептического припадка, вбегает он к жене.

Та сразу поняла – случилось ужасное...

Какие слова находит он, непревзойдённый словотворец?

Что та, которую он с малолетним сыном увёз от нищеты, от «поганого общества», от вечного прозябания в захолустной дыре, – размазала его как тряпку? Что сам он – жалкий слепец, считавший её преданной, повенчанной женой?..

Неужели это о ней, боже мой, о ней, страстно любимой, писал он, ещё живя в Семипалатинске: «Вдруг слышу, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж... Я был поражён как громом, я заметался, упал в обморок и проплакал всю ночь... Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш»...

А что же виновница этого некогда действительно «страшного, грозного чувства»?

Чем могла ответить ему она, уже неизлечимо больная, только что простившаяся с любимым человеком, который любил её – отчаянно

и безнадежно – до последних её земных дней? Схитрить? Заломить руки в горьком покаянии? Пасть на колени?

Она была умной, горделивой, «с недюжинным интеллектом женщиной, не умевшей говорить против своего сердца» (*слова Достоевского*).

И она – не то защищаясь, не то нападая, а скорее от смертельно невыносимой затянутости узла, бросала ему в его искажённое «нервной болью» лицо:

– Да, я полюбила его! До нашего ещё венчания! И ты об этом знал!.. Если бы не нужда проклятая... руку толкнула... принять твоё подаяние... У тебя нет сердца! Ни одна порядочная женщина не могла бы полюбить бывшего преступника. Ты не человек – дьявол...

Прижав к вдруг зарозовевшим губам плачток, она повалилась на подушки.

А его, задохнувшегося от горловых спазмов, обожгло страшным ощущением: он снова на Семёновском плацу, на эшафоте, привязан к столбу, в глазах чёрная, могильная духота савана, и щелчки в морозном воздухе взводимых ружей отщёлкивают ему его последнюю предсмертную минуту...

В своей книге воспоминаний об отце дочь Достоевского пишет:

«С растерзанной душой он слушал безумную исповедь жены... Он был охвачен ужасом перед Марьей Дмитриевной, покинул её и бежал в Петербург, где искал утешения у брата Михаила... Ему было сорок лет, и он ещё не был любим...».

И тут припоминается – и совсем некстати! – что в это самое время у него полыхает эмоциональнейший, на грани фолы, роман с юной взбалмошной «нигилисточкой» Полинкой Суловой, начинающей писательницей, из романтического заграничного путешествия с которой он только что вернулся (*и которая, к слову, опубликует в своё время книгу «Годы близости с Достоевским»*).

Парижское письмо Достоевского затронутой поры – к Варваре Дмитриевне, старшей сестре его жены:

«Напишите мне, голубчик, обо всём, что знаете и что услышите о Марье Дмитриевне. Беспokoюсь я ужасно и сердечно об её здоровье. Дай ей Бог лучшего!..».

И следом, уже из Турина (*сентябрь 1863 года*), горькое сетование брату Михаилу на то, что в очередной своей встрече с рулеткой он «проигрался весь, совершенно, догла». На что брат Михаил довольно логично ответил ему: «Как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь?». (*Хотя мог бы, кажется, позволить себе по-братски съязвить: ...и когда дома больная в чахотке жена...*)

Комментировать мне я не в силах, ибо «прилипе язык к гортанн моей»...

5 апреля 1864 года.

Достоевский — Михайлу:

«...Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить...»

Все мы были около неё. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась... умирает тихо, в полной памяти...»

И в тот же день, вечером:

«Милый брат Миша.

Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем вам приказала долго и счастливо жить (её слова). Помяните её добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что и не знаю, кто бы мог не примириться с ней...»

Так вот. Сдержанно. Без слезы. Смиренно. По-христиански. У великого человека и семейная драма умеет быть великой.

(Из книги: «Владимир Мазаев. КРУТИЗНА»).

Друг Шарик, выходи — побегаем!

Длинное бревенчатое здание турбазы стояло на берегу Томи, в полукольце густого пихтарника. Было осеннее межсезонье, начало ноября, и турбаза пустовала. Мы с товарищем приехали сюда, чтобы провести тут, в безлюдье, несколько дней отпуска, побродить с ружьём, как говаривал мой товарищ, расслабиться на лоне.

Ночами уже прижимали крепкие заморозки, по реке шла шуга. Но снега не было, и промёрзшие травы хрустели под сапогом, точно рыбы кости.

Командант базы жил в отдельном домике, и когда мы предъявили ему путёвки, он участливо сказал:

— Ребята, вы там околаете, на одну печку работать будете. Поселяйтесь у меня. Не бойтесь — не стесните, да и мне веселее. Два месяца живых людей только издали вижу.

С нами была молодая собака по кличке Онега, благородной и редкой у нас, в Сибири, породы русской борзой. Сгорбленная и сухая, на высоких лапах-ходулях, с узкой щучьей мордой, она невольно останавливала внимание всякого, кто взглянет на неё (когда мы шли по посёлку, одна женщина воскликнула: господи, коромысло какое!).

Взрослая Онега в городской квартире, полвергаемая мытьёю в ванне с шампунем «Фея», никогда не знала холода, и теперь сквозь белую шелковистую шерсть её (надо сказать, очень красивую) кое-где нежно просвечивала кожа. Поджарое брюхо вообще было голым и розовым, как телячье вымечко.

У Онеги также был паспорт с фотокарточкой и длинным списком родословной, и пометкой, что один из прадедов её участвовал в съёмках фильма «Война и мир», или что-то в этом роде, уж не помню.

Словом, мы сразу честно предупредили хозяина дома: собака не может ночевать на улице. Мой товарищ, владелец этой титулованной

животины, заверил, что Онега чистоплотна, как княгиня-аристократка, и что она будет знать определённое место для сна — под его раскладушкой. На том и порешили.

Надо сказать, у хозяина тоже имелась собака. Так себе собачонка, рядовая дворняга, с реньями на хвосте. Будка её из щелястого консервного ящика, накрытого сверху куском старой плёнки, стояла в углу двора. И кличка у дворняги была проще некуда — Шарик.

Пока мы разговаривали с хозяином, пока заносили свои рюкзаки, располагались, Онега и Шарик неожиданным образом сдружились. Возможно, на принципе единства противоположностей.

Когда я вышел из дому, обе собаки носились вокруг двора — играли в догоняшки. Онега, засидевшись в городе на поводке, бегала сейчас, вскидывая свои костыли, с визгом и радостью, с необыкновенным ощущением свободы и безнаказанности. Шарик же, для которого личная свобода была элементарной вещью, бегал не столько из внутренней потребности (это было видно по морде), а скорее из чувства гостеприимства и уважения к благородной компании.

Позже я видел их у замёрзшего ручья, в голыже тальниковых зарослей. Шарик вёл за собой Онегу, беспрестанно над чем-то замирая, шюхая. Несомненно, знакомил со своими местными секретами. Долговязая гостя при этом нависала над мелкорослым другом в виде эдакого вопросительного знака, ибо для неё даже пора какой-нибудь бросовой полёвки была чрезвычайно интригующей и неразрешимой загадкой.

Увидев по ту сторону ручья, на стогу, стрекочущую птицу, Онега в восторге первооткрытия кинулась туда, но вдруг поскользнулась на льду и больно проскалась рёбрами по заступам, совершенно неприлично болтая в воздухе лапами. С обидчивым повизгиванием верну-